

# Жак ле Гофф

## Интеллектуалы в средние века



[http://www.gumer.info/bibliotek\\_Buks/History/Goff\\_Int/Аллегро-Пресс Долгопрудный;](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff_Int/Аллегро-Пресс Долгопрудный;)  
1997

### Аннотация

*С очерка истории интеллектуалов, людей, посвятивших себя умственной деятельности, — ученых (монахов и клириков) и мирян (богословов и философов), Ле Гофф начинает свою экспансию в мир духовности и психологии человека Средних веков. Как и в последующих своих работах — «Другое Средневековье», «Людовик IX Святой», напечатавшей в 1960-е годы «Цивилизации средневекового Запада» и др., он остается верен культурно-антропологическому подходу «Новой исторической науки», у истоков которой стояли Марк Блок и Люсьен Февр.*

*Книга адресована историкам, философам, культурологам, филологам, а также самому широкому читателю, интересующемуся прошлым европейской культуры.*

**Жак ле Гофф**

## Интеллектуалы в средние века

Перевод А. Руткевича

### ВВЕДЕНИЕ

К концу средневековья пляска смерти охватила различные сословия мира сего — те. различные социальные группы — и влекла их в небытие, в коем находило удовлетворение мироощущение эпохи упадка Наряду с королями, дворянами, церковниками, буржуа, выходцами из народа в это действо часто была вовлечена фигура клирика, который далеко не всегда равнозначен монаху или священнику Этот клирик происходил из рода интеллектуалов, берущего начало в западном средневековье Почему мы избрали это имя для

названия нашей небольшой книги? Оно не является результатом произвольного выбора Среди множества определений — люди науки, ученые, клирики, мыслители (терминология, относящаяся к миру мысли, никогда не отличалась определенностью) — слово интеллектуал обозначало область с хорошо очерченными границами. Это были школьные учителя, мэтры Впервые оно произносится в эпоху раннего средневековья, затем получает распространение в городских школах XII века, а в XIII веке переходит в университеты. Так именуют тех, чьим ремеслом были мышление и преподавание своих мыслей Этот союз личного размышления и передачи его путем обучения характеризовал интеллектуала. Пожалуй, вплоть до нынешней эпохи эта среда никогда не имела столь четких очертаний и такого сознания собственной значимости, как в Средние века. Из-за двусмысленности термина *clero* (клирик, клерк) в средние века искали другое имя и вслед за Сигером Брабантским окрестили эту фигуру *philosophus* Я сознательно избегал его, поскольку философ для нас — совсем иной персонаж. Это слово было позаимствовано у античности. Во времена Фомы Аквинского и Сигера философом по преимуществу. Философом с большой буквы был Аристотель. Но в средние века таковым был христианский философ. В нем находил свое выражение идеал школ с XII по XV вв. — идеал христианского гуманизма. Однако гуманист для нас опять-таки означает другой тип ученого, а именно: ученого Возрождения XV — XVI вв., который как раз противопоставлялся средневековому интеллектуалу.

Иными словами, за пределами этого очерка, которому я дал бы подзаголовок «Введение в историческую социологию западных интеллектуалов», не будь он столь амбициозным и не будь здесь риска злоупотребить изрядно затертыми на сегодняшний день терминами, — останутся замечательные представители богатой средневековой мысли. Ни мистики, уединенные в своих кельях, ни поэты или составители хроник, удалившиеся от мира школы и погруженные в иную среду, не появятся здесь, а если речь о них и пойдет, то лишь эпизодически, чтобы указать на их отличие. Даже гигантский силуэт Данте, истинного властителя средневековой мысли, отбросит здесь лишь слабую тень. Если он и посещал университет (а был ли он действительно в Париже, бывал ли в Соломенном проулке?), если его произведения и стали в Италии конца XIV в. текстами, требующими ученого толкования, если фигура Сигера и возникает в его «Раю» в казавшихся странными стихах, то по темному лесу он все же следовал за Вергилием, шел иными путями, отличными от тех, что были проложены толпами наших интеллектуалов. Рютбеф, Жан де Мен, Чосер, Вийон будут упоминаться здесь лишь потому, что на них наложило свой отпечаток пребывание в школе.

Поэтому речь в книге придет только об одном аспекте средневековой мысли, только об одном типе ученых. Я не игнорирую ни наличия, ни важности других духовных семейств, других духовных учителей. Но меня привлекла фигура интеллектуала, имеющего свою собственную историю. Она кажется мне весьма примечательной и значимой для истории западной мысли, будучи к тому же четко определимой социологически. Но было бы ошибкой говорить о ней в единственном числе, когда мы находим такое многообразие (надеюсь, страницы этой книги отразят его). От Абеяра до Оккама, от Альберта Великого до Жана Жерсона, от Сигера Брабантского до Виссариона — сколько темпераментов, характеров, различных и противоположных интересов!

Ученый и профессор, мыслитель по профессии, интеллектуал может определяться и некоторыми психологическими чертами, способными вклиниваться в мир духа, становиться некими складками характера, могут затвердевать, делаться привычками, даже маниями. В силу своей рассудительности интеллектуал рискует впасть в рассудочность. Своей наукой он все иссушает. Разве не разрушает он своей критикой, не дискредитирует своей системой? В сегодняшнем мире предостаточно разоблачителей интеллектуала, делающих из него козла отпущения. Если средние века и высмеивали закосневших схоластов, к нему они не были так несправедливы. Они не возлагали на университетских преподавателей вину за потерю Иерусалима, за поражение при Азинкуре — на студентов Сорбонны. Средневековье умело видеть в разуме страстное стремление к справедливости, в науке — жажду истины, в критике — поиск лучшего. Недоброжелателям интеллектуала через века отвечает Данте,

поместивший в Рай и примиривший в нем трех крупнейших интеллектуалов XIII века: Св. Фому, Св. Бонавентуру и Сигера Брабантского.

## **ЧАСТЬ I. XII ВЕК. РОЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ**

### **Возрождение городов и рождение интеллектуала в XII в.**

Вначале были города. Интеллектуал средневековья на Западе рождается вместе с ними. Он появляется вместе с их расцветом, связанным с развитием торговли, промышленности (скажем скромнее — ремесел), как один из тех мастеров, которые водворились в них под влиянием разделения труда.

Ранее действительной специализации людей отвечало разве что подразделение социальных классов, предложенное Адальбероном Ланским: те, кто молится, — клирики; те, кто защищает, — Дворяне; те, кто работает, — крестьяне. Обрабатывающий землю серв был одновременно и ремесленником. Благородный воин был в одно и то же время собственником, судьей, управляющим. Клирики — прежде всего монахи — нередко исполняли сразу все эти обязанности. Духовная работа была лишь одной из сфер их деятельности. Она не была самоцелью, но подчинялась общему порядку их жизни, отданной Богу. Живя в монастырях, они могли по случаю становиться преподавателями, учеными, писателями. Но это было чем-то преходящим, вторичным для личности монаха. Даже те из них, в ком угадывались интеллектуалы грядущих столетий, еще не были таковыми. Алкуин представлял собой прежде всего высокопоставленного чиновника, министра культуры при Карле Великом. Луп из Ферье — прежде всего аббат, пусть интересующийся книгами и охотно ссылающийся на Цицерона в своих письмах.

Человек, чьим ремеслом станут писательство и преподавание (скорее, и то, и другое одновременно), человек, который профессионально займется деятельностью преподавателя и ученого, короче говоря интеллектуал, появится только вместе с городами.

Его появление станет ощутимым лишь в XII веке. Конечно, средневековые города не вырастали на Западе вдруг, как грибы. Историки обнаруживают их уже вполне готовыми в XI, в X веках, и чуть ли не каждый номер специализированного журнала сообщает нам о новом, все более отдаленном по времени возрождении городов.

Разумеется, города всегда были на Западе, но «останки» римских городов времен поздней империи прикрывали своими стенами горстку жителей, окружавшую военного, административного или религиозного правителя. Таковы прежде всего города, где размещались епископства, — в них жило незначительное число мирян, меньшее, чем священников, и не было иной экономической жизни, кроме небольшого местного рынка, служащего удовлетворению повседневных нужд.

Видимо, под воздействием мусульманского мира, который требовал поставок сырья для огромного городского населения Дамаска, Фустата, Туниса, Багдада, Кордовы с варварского Запада, — леса, мечей, мехов, рабов — стали появляться эмбрионы городов, «порты». Они были самостоятельными либо прилеплялись к епископальным центрам и военным «бургам» X в. (быть может, даже IX в.). Но этот феномен в полной мере заявит о себе только в XII веке и тогда основательно изменит экономическую и социальную структуру Запада, а движение коммун потрясет политические структуры.

К этим революциям добавится еще одна — культурная. А к зарождениям и возрождениям присоединится еще одно — интеллектуальное возрождение? Очерк истории его главных участников и перевоплощений их преемников — вплоть до конца того, что называется средневековьем, вплоть до другого возрождения — и будет темой нашей небольшой книги.

### **Каролингское возрождение — было ли оно?**

Если трудно признать подлинным и законченным возрождение городов до XII века, то разве можно пройти мимо тех перемен в области культуры конца VIII — первой половины IX вв., которые традиционно именуется Каролингским возрождением?

Не отрицая последнего, не говоря, подобно иным историкам, о так называемом возрождении, мы хотели бы уточнить его границы.

Для возрождения у него отсутствуют те количественные показатели, которые предполагаются самим этим понятием. Да, повысился уровень культуры детей аристократов, учеников дворцовой школы, тех из клириков, кто обучался в немногих крупнейших монастырских и епископальных центрах. Но одновременно Каролингское возрождение практически положило конец остаткам начального образования, которое меровингские монастыри распространяли среди детей из окрестных деревень. Во время великой реформы бенедиктинского ордена 817 г., на которую императора Людовика Благочестивого вдохновил св. Бенедикт Анианский и которая заключалась в замыкании на себе самом первоначального бенедиктинского монашества, «внешние» школы монастырей были закрыты. Ренессанс для замкнутой элиты — крайне малочисленной — должен был послужить клерикальной Каролингской монархии небольшим питомником, выращивающим чиновников и политиков. Республиканские учебники французской истории заблуждаются в своих восхвалениях Карла Великого (кстати, неграмотного), делая из него покровителя школ и предшественника Жюль Ферри.

Кроме такого подбора кадров для монархии и церкви, интеллектуальное движение Каролингской эпохи не проявляло ни апостольского рвения, ни бескорыстия в своих делах и помыслах.

Прекрасные манускрипты эпохи были предметами роскоши. Время, уходившее на переписку, на совершенство письма (каллиграфия еще более, чем какография, — признак эпохи бескультурья с чрезвычайно малым спросом на книги), на украшение их со всем возможным великолепием для дворца, для нескольких светских или церковных магнатов, говорит о минимальной скорости оборота книг в те времена.

Более того, эти книги создаются не для того, чтобы их читали. Они оседают в сокровищницах церкви или богатых частных лиц. Это прежде всего экономические, а не духовные ценности. Пусть иные из авторов, копирующие фразы древних писателей или отцов церкви, утверждают превосходство духовного содержания книги. Им верят на слово, что только помогает увеличить материальную цену книг. Карл Великий распродал часть своих прекрасных рукописей, чтобы раздать милостыню. Книги рассматриваются не иначе, как дорогая посуда.

Монахи, трудолюбиво их переписывающие в *scriptoria* своих монастырей, лишь в малой степени интересуются их содержанием. Для них важнее потраченные усилия, время, усталость от переписки. Ведь это — епитимья, обеспечивающая им небесное блаженство. Кроме того, в соответствии с тогдашним пристрастием к установленным оценкам добрых дел и прегрешений, позаимствованным из судопроизводства варваров церковью раннего средневековья, монахи измеряли числом страниц, строк, букв выкупленные годы пребывания в чистилище либо, наоборот, сетовали на то, что пропущенная по недосмотру буква увеличит им срок этого пребывания. Своим наследникам они передали имя чертенка, известного тем, что он дразнил переписчиков, — *Titivillus* (впоследствии его вновь отыскал Анатолий Франс).

Наука для этих христиан, в которых дремал варвар, была сокровищем. Его следовало всячески охранять. Замкнутая культура существовала вместе с закрытой экономикой. Каролингское возрождение не сеяло, а копило. Но возможно ли скупое возрождение?

Лишь по невольной щедрости Каролингская эпоха может несмотря ни на что сохранить за собой этот титул. Конечно, самый оригинальный и самый сильный мыслитель эпохи Иоанн Скот Эриугена жил, не имея слушателей, — его признали, поняли, стали использовать его труды только в XII в. Но переписанные в каролингских *scriptoria* рукописи, концепция семи свободных искусств, перенятая Алкуином у ритора V в. Марциана Капеллы,

выдвинутая им же идея *translatio studii* — передачи знаний Западу, прежде всего Галлии из Афин и Рима как очага цивилизации, — все эти накопленные сокровища будут пущены в оборот, брошены в горнило городских школ, переплавятся в нем и войдут в возрождение XII века как последнее свидетельство античности.

## Современность XII века. Древние и новые

Совершать нечто новое, стать новыми людьми — так воспринимали себя интеллектуалы XII столетия. Может ли существовать Ренессанс без чувства возрождения? Вспомним о возрождавшихся в XVI веке, о Рабле. Из их уст, из-под их пера для обозначения современных им авторов часто выходит слово *moderni*. Они были новыми, современными и умели ими быть. Но такими новыми, которые не оспаривали древних; напротив, они подражали им, питались ими, взгромождались им на плечи. От тьмы невежества к свету науки не поднимаешься, коли не перечтешь с живейшей любовью труды Древних, — пишет Пьер де Блуа. — Пусть лают собаки, пусть свиньи хрюкают! От сего не стану меньшим сторонником Древних. О них все мои помыслы, и заря каждого дня найдет меня за их изучением.

Вот как учил в Шартре, одном из знаменитейших школьных центров XII в., мэтр Бернар, по свидетельству своего именитого ученика Иоанна Солсберийского: Чем больше ты знаком с науками и чем больше ими проникся, тем полнее поймешь правоту древних авторов и тем яснее станешь их преподавать. Эти последние, благодаря *diacrisis*, что мы можем перевести как рисунок или окраска, из первоматерии истории, темы, сказания, с помощью всех дисциплин и великого искусства синтеза и сочетания создавали законченное произведение как прообраз всех искусств. Грамматика и Поэзия тесно сплетаются и покрывают все пространство изображаемого. На это поле Логика, дающая нам цвета демонстрации, приносит блеск золота разумных доказательств; Риторика силой убедительности и красноречия подобна сиянию серебра. Квадрига Математики движется по следам других искусств и оставляет бесконечное разнообразие цветов и оттенков. Изучив тайны природы. Физика несет очарование своих нюансов. Наконец, возвышающаяся над прочими ветвями Этическая Философия, без которой и сама философия не получила бы своего имени, превосходит все прочие тем достоинством, которое она придает произведению. Почитай внимательно Вергилия или Лукана и, какую бы философию ты не исповедовал, найдешь то, что тебе пригодится. В этом, в зависимости от умения учителя и рвения ученика, заключается польза от предварительного чтения древних авторов. Таков метод, коему следовал Бернар Шартрский, чьи сочинения — богатейший источник изящной словесности в Галлии новых времен...

Но не является ли такое подражание рабским? В дальнейшем мы увидим, что многие античные привнесения в западную культуру были и плохо переварены и худо приспособлены. Но в XII веке все это было так ново!

Если мэтры, клирики и добрые христиане предпочитают в качестве *text-book* Вергилия Экклезиасту, Платона Августину, то делают это не только из убежденности в том, что Вергилий и Платон богаты моральными поучениями, что за кожей сокрыта сердцевина (разве таких поучений мало в Писании и у отцов церкви?). Они делают это потому, что «Энеида» и «Тимей» являются для них прежде всего научными трудами — они написаны учеными, они пригодны в качестве предметов специального, технического образования, тогда как Писание и труды отцов церкви, которые тоже могут быть полны учености (разве книга Бытия не является образцом для естественных наук и космологии?), играют эту роль лишь во вторую очередь. Древние — это специалисты, которые лучше приспособлены для специального обучения, а именно: для свободных искусств, школьных дисциплин, нежели труды Отцов или Писание, принадлежащие по преимуществу области Теологии. Интеллектуал XII века является профессионалом — у него свои, полученные от древних, предметы, своя техника, которая в главном также есть подражание древним.

Но используется она для того, чтобы идти дальше древних, подобно итальянским кораблям, использующим море, чтобы плыть за богатствами Востока.

Таков смысл известного изречения Бернара Шартрского, которое часто повторялось в средние века:

Мы — карлики, взобравшиеся на плечи гигантов. Мы видим больше и дальше, чем они не потому, что взгляд у нас острее и сами мы выше, но потому, что они подняли нас вверх и воздвигли на свою гигантскую высоту...

Значимость культурного прогресса — вот что выражает этот знаменитый образ. Иными словами, значимость прогресса в истории. В раннем средневековье история остановилась, Церковь победила и реализовала себя на Западе. Оттон Фрейзингенский, перенявший августиновское учение о двух градах, заявлял: Начиная с того момента, как не только все прочие, но даже императоры, за малыми исключениями, стали католиками, мне кажется, что я писал уже историю не двух градов, но одного и имя ему — Церковь.

Не раз говорилось о воле к забвению времени у феодалов, а вместе с ними и у монахов, включенных в феодальные структуры. Дойдя до политической победы буржуазии, Гизо был уверен, что тем самым он достиг цели истории. Интеллектуалы XII в., появившись в воздвигавшихся городах, где все двигалось и менялось, вновь запустили машину истории и первым делом определили свою миссию во времени: *Veritas, filia temporis* — сказано уже Бернаром Шартрским.

## Вклад греков и арабов

Дочь времени, истина, является также дочерью географического пространства. Города — это места вращения людей, нагруженных идеями словно товарами, обмена, рынков и перекрестков интеллектуальной торговли. В XII в., когда Запад экспортировал в основном сырье, хотя уже приближался расцвет торговли тканями, редкие и дорогие предметы ремесла приходили с Востока — из Византии, Дамаска, Багдада, Кордовы. Вместе с пряностями и шелком на христианский Запад пришли рукописи, несущие греко-арабскую культуру.

Арабская культура была прежде всего посредником. Труды Аристотеля, Эвклида, Птолемея, Гиппократ, Галена сохраняли на Востоке христиане-еретики — монофизиты, несториане — и преследуемые в Византии евреи. От них эти сочинения перешли в библиотеки мусульманских школ и были там хорошо приняты. И вот теперь началось обратное движение, которое принесло их к берегам западного христианства. Здесь невелика роль узкой полосы латинских государств на Востоке. Этот фронт встречи между Западом и Исламом был прежде всего военным — столкновений, крестовых походов. Тут обменивались ударами, а не идеями и книгами. Через эту полосу военных действий проникли немногие сочинения. Двумя главными зонами контакта, передачи восточных рукописей были Италия и еще более Испания. Ни временные укрепления мусульман на Сицилии и в Калабрии, ни волны христианской Реконквисты никогда не препятствовали в этих местах мирному обмену.

Христианские охотники за греческими и арабскими манускриптами добивались даже до Палермо, где норманнские короли Сицилии, а затем Фридрих II со своей трехязычной канцелярией — греческой, латинской, арабской — основали первый итальянский двор в стиле Ренессанса; добивались до Толедо, отвоеванного у неверных в 1087 г., где под покровительством архиепископа Раймонда (1125 — 1151) трудились христианские переводчики.

## Переводчики

Первопроходцами этого Ренессанса были переводчики. Запад уже не знал греческого — Абельяр оплакивал это и увещевал священников восполнить пробел, вводя тем самым людей в сферу культуры. Научным языком была латынь. Арабские оригиналы, арабские

версии греческих текстов, греческие оригиналы — их нужно было переводить, либо в одиночку, либо — и чаще всего — группами переводчиков. Христианам Запада помогали испанские христиане, жившие под властью мусульман (мозарабов), евреи и даже сами мусульмане. Тем самым происходило объединение всех способностей и умений. Известность получила одна из таких команд, собранная ученым аббатом Ключийским, Петром Достопочтенным, для перевода Корана. Он отправился в Испанию для инспекции ключийских монастырей, рождавшихся вместе с продвижением Реконкисты. Петру Достопочтенному первому пришла мысль о том, что с мусульманами нужно сражаться не только в военной, но и в интеллектуальной области. Чтобы опровергнуть их учение, его следует знать. Нам эта мысль кажется до наивности очевидной, но она требовала необычайной смелости в эпоху крестовых походов.

Дают ли мусульманскому заблуждению презренное имя ереси или бесчестное имя язычества, против него нужно действовать, а это значит, что против него нужно писать. Но латиняне, в особенности же нынешние, утратили древнюю культуру и, подобно иудеям, изумлявшимся знанию множества языков апостолами, не владеют иным, кроме языка своей родной земли. Потому они и не могли ни распознать чудовищности этого заблуждения, ни преградить ему путь. Оттого воспламенилось мое сердце и огонь сей зажег мои мысли. Я вознегодовал, видя, как латиняне упускают из виду причину этой гибели, решил предоставить их невежеству силу этой гибели сопротивляться. Ибо никто не мог ответить, ибо никто не знал. Посему я стал искать знатоков арабского языка, позволившего этому смертельному яду заразить половину шара земного. Силою молитвы и денег убеждал я их перевести с арабского на латинский историю и учение сего несчастного и даже его закон, носящий имя Корана. А чтобы верность перевода была полной, чтобы никакая ошибка не исказила нашего понимания, к христианским переводчикам я добавил сарацина. Вот имена христиан: Роберт Кеттенский, Герман Далматский, Петр из Толедо; сарацина же звали Мохаммедом. Эта группа, перекопав все библиотеки этого варварского народа, извлекла из них ту огромную книгу, которую они опубликовали для латинского читателя. Сей труд был совершен в тот год, когда я прибыл в Испанию и встречался с сеньором Альфонсом, победоносным императором испанцев, то есть в 1142 году от Рождества Господня.

Это образцовое предприятие Петра Достопочтенного находится как бы на краю занимающего нас переводческого движения. Христианские переводчики Испании обращались не столько к самому исламу, сколько к греческим и арабским научным трактатам. Ключийский аббат подчеркивает, что потребовалось немалое вознаграждение, дабы обзавестись специалистами. За профессиональный труд следовало хорошо платить.

Что было принесено на Запад этим первым типом ученого, интеллектуала-специалиста, к коему относились переводчики XII века: Яков Венецианский, Бургундьо Пизанский, Моисей Бергамский, Леон Тускус в Византии и на севере Италии, Аристипп Палермский, Аделяр Батский, Платон Тиволийский, Герман Далматский, Роберт Кеттенский, Гуго Санталский, Гундисальво, Герард Кремонский в Испании?

Заполняются лакуны в латинском наследии западной культуры — в области философии и прежде всего науки. Математика Эвклида, астрономия Птолемея, медицина Гипократа и Галена, физика, логика и этика Аристотеля — вот огромный вклад этих тружеников. Быть может, метод был даже важнее самого содержания. Любознательность, рассудительность и вся *Logic a Nova* Аристотеля: две Аналитики (*priora* и *posteriora*). Топика, Опровержения (*Sofistici Elenchi*), к которым скоро прибавилась *Logica Vetus* — Старая Логика, известная через Боэция, а теперь вновь получившая распространение. Таково было потрясение, стимул, урок, преподанный античным эллинизмом, пришедшим на Запад долгим кружным путем через Восток и Африку.

Добавим к этому собственно арабские привнесения. Арифметика с Алгеброй Аль-Хорезми предвляла знакомство Запада с арабскими цифрами (на деле индийскими, но пришедшими через арабов) в самом начале XIII в. благодаря Леонардо из Пизы. Медицина Рази, прозванного христианами Разесом, и прежде всего Ибн-Сины, или Авиценны, чья

медицинская энциклопедия, или Канон, стала настольной книгой западных врачей. Астрономы, ботаники, агрономы — и еще более алхимики, передавшие латинянам свои лихорадочные поиски эликсира. Наконец, философия, которая, отталкиваясь от Аристотеля, воздвигла мощные синтетические системы Аль-Фараби и Авиценны. Вместе с трудами пришли наименования цифр, ноль, алгебра — они перешли от арабов к христианам вместе с коммерческой лексикой: дуань (таможня), базар, фондук (fondacco — склад товаров), габель (налог на соль), чек и т. д.

Этим объясняется отправление в Италию и особенно в Испанию большого числа жаждущих познаний, вроде англичанина Даниэля Морлийского, поведавшего епископу Норвича о своем пути интеллектуального развития.

Страсть к учению прогнала меня из Англии. Какое-то время я пребывал в Париже. Но тут я нашел только дикарей, важно восседавших на своих скамьях рядом с парой-тройкой табуреток, нагруженных огромными томами, воспроизводившими уроки Ульпиана позолоченными буквами, со свинцовыми перьями в руках, коими они тяжко выводили звездочки и обели <sup>1</sup> в своих книгах. Невежество побуждало их к недвижности истуканов, но они притязали даже на то, что демонстрируют мудрость уже своим молчанием. Стоило же им открыть рот, и слышен был лишь детский лепет. Поняв это, я задумался о том, как мне избежать подобной опасности и овладеть «искусством» толкования Писания иначе, чем просто воздавая ему хвалы или сторонясь его за краткостью ума. Поскольку доньше в Толедо обучение арабов почти целиком посвящено искусствам квадривиума <sup>2</sup> и избавлено от наплыва толпы, я поспешил туда, чтобы слушать лекции самых ученых философов мира. Друзья отозвали меня, и, хотя меня приглашали вернуться в Испанию, я приехал в Англию с немалым числом ценных книг. Мне говорили, что в этих краях преподавание свободных искусств никому не известно, что Аристотель и Платон были преданы здесь забвению ради Тита и Сеяна. Велика была моя печаль, и, чтобы не оставаться единственным греком среди римлян, я собрался в дорогу, дабы найти место, где я мог бы учить и способствовать расцвету таких наук... Пусть никто не смущается, если, говоря о творении мира, я привожу свидетельства не отцов церкви, но языческих философов, поскольку, хоть они и не причислены к правоверным, иные из их речений должны войти в наше образование, дополняемые верой. Ведь мы сами чудесным образом были спасены на пути из Египта, и Господь велел нам забрать сокровища египтян, чтобы передать их евреям. По велению Господа и с его помощью нам надлежит отнять языческих философов их мудрость и красноречие: ограбим неверных так, чтобы обогатить добычей нашу веру.

Даниэль Морлийский видел в Париже только следование традиции, упадок, запустение. Иным был Париж XII века.

Испания и Италия знали только первый этап обретения греко-арабских материалов — труд переводчика, позволивший усвоить эти материалы интеллектуалам Запада.

Центры, в которых происходило дальнейшее включение восточных привнесений в христианскую культуру, находились не здесь. Самыми важными из них были Шартр и Париж, окруженные более традиционными Ланом, Реймсом, Орлеаном. Это была другая зона, здесь шли обмен и переработка материалов в готовую продукцию, тут встречались Север и Юг. Между Луарой и Рейном — в тех самых местах, где к ярмаркам Шампани примыкали крупная торговля и банки, — вырабатывается культура, которая сделала Францию первой наследницей Греции и Рима, как это предсказывал Алкуин и как это воспевал Кретьен де Труа.

## Париж: Вавилон или Иерусалим?

---

<sup>1</sup> [1] Значки на полях, которыми помечались ошибки.

<sup>2</sup> [2] То есть наукам.



Из всех этих центров самым блестящим становится Париж, коему содействует растущий престиж монархий Капетингов. Мэтры и школяры толпятся либо на Сите с его школой при соборе, либо на левом берегу со все более увеличивающимся числом школ, где они пользуются значительной независимостью. Вокруг церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, между улицами Бушри и Гарланд; и восточнее, вокруг школы каноников у церкви Сен-Виктор; а также к югу, взбираясь на гору, вершину которой украшает, как короной, большая школа при монастыре Св. Женеьевы. Помимо постоянных профессоров капеллы Нотр-Дам, каноников Сен-Виктора и Сен-Женеьев, появляются и более независимые мэтры — профессора агреже, получившие от имени епископа и из рук руководителя школы *licentia docendi*, право на преподавание. Они притягивают в свои частные дома или в открытые для них монастыри Сен-Виктор и Сен-Женеьев все растущее число школяров. Париж обязан своей славой прежде всего расцвету теологического образования, составлявшего вершину школьных дисциплин; но вскоре — и даже в еще большей мере — эта слава придет к нему от той ветви философии, которая, используя аристотелизм и силу суждения, превознесет рациональные способности ума — диалектики.

Так Париж реально или символически делается для одних городом-светочем, первоисточником интеллектуальных радостей, а для других — дьявольским вертепом, где разврат испорченных философией умов перемешался с мерзостью жизни, преданной игре, вину и женщинам. Большой город — место гибели, а Париж — это современный Вавилон. Св. Бернар взывает к парижским учителям и студентам: Покиньте сей Вавилон, бегите, спасайте ваши души. Летите все вместе в города-приюты, где сможете раскаться б прошлым, жить благодатью в настоящем и с надеждой о будущем (речь идет о монастырях). В лесах ты найдешь куда больше, чем в книгах. Деревья и камни научат тебя большему, чем любой учитель.

Другой цистерцианец, Пьер де Сель, пишет: О Париж, как ты умеешь завлекать и обманывать души! Твои сети порока, капканы зла, твои адские стрелы губят невинные сердца... Напротив, счастлива та школа, учителем в коей Христос, учащий наши сердца слову мудрости, где мы без всяких лекций постигаем путь к вечной жизни! Тут не покупают книг, не платят профессорам-грамотеям, тут не слышно шумихи диспутов, нет сплетений софизмов. Решение всех проблем здесь просто, а учатся здесь причине всего.

Так, партия святого неведения противопоставляет школу одиночества школе шума, монастырскую школу — городской, школу Христа — школе Аристотеля и Гиппократа.

Фундаментальная оппозиция между новыми городскими клириками и монастырской средой, обновление которой в XII в. обнаруживает на Западе (через эволюцию бенедиктинского движения) крайности первоначального монашества, звучит в восклицании цистерцианца Гийома из Сен-Тьерри, близкого друга Бернара: Братья Божьей Горы! Они несут во тьму Запада свет Востока, а в холода Галлии — религиозное горение древнего Египта, а именно уединенную жизнь, зеркало жизни небесной.

По странному парадоксу, в тот самый момент, когда городские интеллектуалы закладывают в греко-арабскую культуру закваску того духа и метода мышления, который станет характерным для Запада и создаст его интеллектуальную мощь — ясность суждения, заботу о научной точности, взаимную поддержку веры и разума, — монастырский спиритуализм в самом сердце Запада провозглашает возврат к мистицизму Востока. Это важный момент: городские интеллектуалы уводят Запад от миражей Азии и Африки — от мистических миражей леса и пустыни.

Но сам этот уход монахов расчищает дорогу, ведущую к расцвету новых школ. Собор в Реймсе в 1131 г. запрещает монахам заниматься медициной за пределами монастырей; в результате это поприще освобождается для Гиппократа.

Парижские клирики не послушались св. Бернара. Иоанн Солсберийский пишет Томасу Беккету в 1164 г.:

Я обошел Париж. Когда я увидел изобилие продуктов, людское веселье, почтение, коим

пользуются клирики, величие и славу всей церкви, разнообразную деятельность философов, то восхитился — словно узрел лестницу Иакова, вершина которой соприкасалась с небесами и по которой поднимались и спускались ангелы. В восторге от сего счастливого странствия я должен был признать: здесь жив Господь, а я того не ведал. Вот слова поэта, пришедшие мне на память: Счастлив изгнанник, место ссылки коего — его жилище. Аббат Филипп Арвеньский, сознавая богатство городского образования, пишет одному молодому ученику: Следуя любви к науке, ты теперь в Париже, ты. обрел тот Иерусалим, коего жаждут многие. Это — дом Давидов,... дом мудреца Соломона. Такое стечение народа, такая толпа клириков, что скоро они числом своим превзойдут мирян. Счастлив тот город, где с таким рвением читают священные книги, где сложнейшие тайны разрешаются по милости Св. Духа, где столько знаменитых профессоров, где такая богословская ученость, что можно назвать его градом свободных искусств!

## Голиарды

В этом хоре похвал Парижу с особой силой звучит высокий голос странной группы интеллектуалов. Это — голиарды, для них Париж земной рай, роза мира, бальзам вселенной.

*Paradisius mundi Parisius, mundi rosa, balsamum orbis.* Кто такие голиарды? Все скрывает от нас эту фигуру. Прячущая большинство из них анонимность, легенды, пущенные ими самими в шутку, или те, что распространялись их врагами вместе с обильной клеветой и злоречием; наконец, истории, сложенные эрудитами и современными историками, заблудившимися в ложных подобиях, ослепленными предрассудками. Иные из них перенимают проклятия соборов и синодов, а также некоторых церковных писателей XII — XIII вв. Клирики-голиарды, или странствующие клирики, назывались бродягами, развратниками, фиглярами, шутами. Их изображали как некую богему, псевдостудентов, глядя на них то с известным умилением — пусть молодежь перебесится, то с опаской и презрением — смутьяны, нарушители порядка, разве они не опасны? Другие, наоборот, видят в них своего рода городскую интеллигенцию, революционную среду, открытую всем формам явной оппозиции феодализму. Где же 'истина?

Стоит нам избавиться от фантастических этимологии, и оказывается, что нам неведомо даже происхождение слова «голиард». Его считали производным от Голиафа, воплощения дьявола, врага Бога, или от *gula*, глотки, чтобы сделать из учеников сего врага божьего пьянчуг и горлопанов. Так как Голиаса, исторического основателя ордена, членами которого были голиарды, найти не удалось, то нам остаются лишь несколько биографических деталей отдельных голиардов и сборники стихов — индивидуальные или коллективные, *carmina burana*, — а также проклинающие или очерняющие их современные тексты.

## Интеллектуальное бродяжничество

Нет никаких сомнений в том, что они образовывали среду, где охотно критиковали общество с его институтами. Будь они городского, крестьянского или даже дворянского происхождения, голиарды являлись прежде всего странниками, типичными представителями той эпохи, когда демографический рост, пробуждение торговли, строительство городов подрывали феодальные структуры и выбрасывали на дороги, собирали на перекрестках, которыми и были города, всякого рода деклассированных, смельчаков, нищих. Голиарды — это плод социальной мобильности, характерной для XII века. Уже бегство за пределы устоявшихся структур было скандалом для традиционно настроенных умов. Раннее средневековье старалось прикрепить каждого к своему месту, к своему делу, ордену, сословию. Голиарды были беглецами. Они бежали, не имея средств к существованию, а потому в городских школах сбивались в стаи бедных школяров, живших чем и как придется, нищенствовавших, делавшихся слугами у своих более зажиточных соучеников, ибо, как сказано Эвваром Немецким: Если Париж — рай для богатых, то для бедных он — жаждущая

добычи трясина. Он оплакивает Parisiana fames, голод несчастных парижских студентов.

Чтобы заработать себе на жизнь, они иной раз делались циркачами и шутами; отсюда, вероятно, происходит еще одно имя, под которым они выступают. Но следует помнить, что слово jocolator, жонглер, в ту эпоху было эпитетом для всех тех, кого находили опасным, кого хотели выбросить за пределы общества. Jocolator — да это же «красный», это бунтовщик!

У этих бедных школяров не было ни постоянного жилья, ни доходного места, ни бенефиция, а потому они пускались в интеллектуальные авантюры, следовали за понравившимся им учителем, сбегались к знаменитостям, переноса из города в город полученное образование. Они формируют костяк того школьного бродяжничества, которое было так свойственно XII веку. Они привносят в него дух авантюры, импульсивности, дерзости. Но они не составляют какого-то класса. Они разнятся своим происхождением, у них различные притязания.

Учебке они, конечно, предпочли бы войну. Но их собратьями уже и без того полна армия крестоносцев, разбойничавших на всех дорогах Европы и Азии и только что разграбивших Константинополь. Если все голиарды предаются критике, то некоторые из них, быть может многие, мечтают сделаться теми, кого они критикуют. Если получивший репутацию насмешника Гуго Орлеанский, по прозвищу Примас, успешно учил в Орлеане и Париже, вполне оправдывал репутацию насмешника (послужив впоследствии прообразом Primasso в «Декамероне»), всегда жил в безденежье и сохранял остроту настороженного взгляда, то Архипиита Кельнский перебивался подачками за лесть со стола Регинальда Дассельского, немецкого прелата и архиканцлера Фридриха Барбароссы. Серлон Вильтонский привязался к партии Матильды Английской, покаялся и вступил в орден цистерцианцев. Готье Лилльский жил при дворе Генриха II Плантагенета, а затем у архиепископа Реймского и умер каноником. Они мечтают о щедром меценате, о пребенде, о счастливой жизни на широкую ногу. Кажется, они хотят не столько поменять социальный порядок, сколько сделаться его новыми бенефициариями.

## Имморализм

И все же сами темы их поэзии беспощадно атакуют это общество. У многих из них явно различимы черты революционеров. Игра, вино, любовь — вот воспеваемая ими трилогия, вызывавшая негодование благочестивых душ того времени, хотя сей грех им легко отпускают современные историки.

*Создан из материи слабой, легковесной,  
Я — как лист, что по полю гонит ветр окрестный.  
Как ладья, что кормчего потеряла в море,  
Словно птица в воздухе на небес просторе,  
Все ношусь без удержу я себе на горе.  
Ранит сердце чудное девушек цветенье —  
Я целую каждую — хоть б воображенья!*

*Во-вторых, горячкою мучим я игорной;  
Часто ей обязан я наготой позорной.  
Но тогда незябнувший дух мой необорный  
Мне внушает лучшие из стихов бесспорно.*

*В кабаке возьми меня, смерть, а не на ложе!  
Быть к вину поблизости мне всего дороже.*

*Будет петь и ангелам веселее тоже:  
«Над великим пьяницей смилуйся, о боже!»*

Все это кажется безобидным и разве что предвещает гений того же Вийона. Но остережемся от скорых суждений, в поэме есть более острые слова:

*О своем спасении думаю немного  
И лишь к плотским радостям льну душой убогой.  
Воевать с природою, право, труд напрасный:  
Можно ль перед девушкой вид хранить бесстрастный?  
Над душою юноши правила не властны:  
Он воспламеняется формой прекрасной.*

(Пер. О. Б. Румера.)

Разве в этом провоцирующем имморализме, в этой похвале эротике, — иногда граничившей у голиардов с непристойностью, — не проступают естественная мораль, отрицание церковного учения и традиционной морали? Разве голиард не принадлежит к той большой семье вольнодумцев, которые, помимо свободы нравов и свободы слова, стремились также к свободе духа?

В образе Колеса фортуны, постоянно появлявшемся в поэзии клириков-вагантов, содержится не только поэтическая тема; и, конечно, они вкладывали в этот образ больше, чем их современники, которые без злого умысла и без задних мыслей изображали это колесо в своих соборах. Однако вращающееся Колесо Фортуны, вечное возвращение, слепой Случай, свергающий преуспевших, по существу, не являются и революционными темами — они отвергают прогресс, отрицают смысл Истории. Они могут звать к общественным потрясениям, но ровно настолько, насколько в них отсутствует интерес к послезавтрашнему дню. Именно в этих образах предстает склонность голиардов к бунту — если не революции, их они воспевали и изображали в своих миниатюрах.

## Критика общества

Важно то, что поэзия вагантов обрушивается — задолго до того, как это стало общим местом буржуазной литературы, — на всех представителей порядка раннего средневековья: церковников, аристократов, даже крестьян.

В церкви излюбленными мишенями голиардов являются те, кто социально, политически, идеологически наиболее привязаны к общественным структурам: папа, епископы, монахи.

Антипапское и антиримское вдохновение голиардов, не смешиваясь, присоединяется к двум другим течениям. Во-первых, это гибеллины, нападавшие прежде всего на мирские притязания папства и державшиеся стороны империи против духовенства. Во-вторых, морализаторское течение, упрекавшее папу и римский двор за компромиссы с духом времени, за роскошь, за корыстолюбие. Конечно, в имперской партии было немало голиардов — хотя бы тот же Архипиита Кельнский, — и их поэзия часто имеет своим истоком антипапские сатиры, даже если последние довольствовались традиционными темами и часто были довольно беззубыми. Но и по тону, и по духу голиарды явно отличаются от гибеллинов. В римском первосвященнике и его окружении гибеллины видят главу и гаранта социального, политического, идеологического порядка; даже больше того — социальной иерархии, тогда как голиарды являются не столько революционерами, сколько анархистами. В то время, как после григорианской реформы папство стремится отойти от феодальных структур и опереться не только на старую власть земли, но и на новую власть денег, голиарды разоблачают эту новую ориентацию, продолжая обрушиваться и на старую.

Григорий VII заявил: Господь не говорил: мое имя Обычай. Голиарды обвиняют его

наследников, которые понуждают Господа говорить: Имя мое — Деньги:

## СВЯТОГО ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА СЕРЕБРА — ЧТЕНИЕ.

*Во время оно рече папа к римлянам: «Когда же придет сын человеческий к престолу славы нашей, перво-наперво спросите: „Друг, для чего ты пришел?“ Но если не перестанет стучаться, ничего вам не давая, выбросьте его во тьму внешнюю. И было так, что явился бедный некий клирик в курию отца папы и возгласил, говоря: „Помилуйте меня, привратники папские; ибо рука нищеты коснулась меня; я же беден и нищ; а посему прошу, да поможете невзгоде моей и нужде моей“. Они же, услышав, вознегодовали зело и рекли: «Друг, бедность твоя да будет в погибель с тобою! Отойди от меня, сатана, ибо пахнешь ты не тем, чем пахнут деньги: Аминь, аминь, глаголю тебе: не войдешь в радость господина твоего, пока не отдашь до последнего кодранта. Бедный же пошел и продал плащ и рубаху и все, что имел, и дал кардиналам, и привратникам, и спальникам; но они отвечали: «Что это для такого множества?» — и выгнали его вон; он же, вышед вон, плакался горько, не имея себе утешения.*

*После же пришед к вратам курии некий клирик, утучневший, отолстевший и ожиревший, который во время мятежа сделал убийство; сей дал, во-первых, привратнику, во-вторых, спальнику, в-третьих, кардиналам, но они думали, что получают больше.*

*Отец же, папа, услышав, что кардиналы и слуги прияли от клирика мзду многую, заболел даже до смерти; но богатый послал ему снадобие золотое и серебряное, и он тотчас же исцелился. Тогда призвал отец, папа, к себе кардиналов и слуг и вещал к ним: «Смотрите, братие, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо я дал вам пример, дабы так, как я беру, и вы бы брали». (Пер. Б.И.Ярхо.)*

От соглашательства с дворянами церковники теперь перешли к сговору с богатеями. Церковь рычала вместе с феодалами, ныне она лает вместе с торговцами. Голиарды, следуя тем интеллектуалам, которые стремились нести в города светскую культуру, клеймили такую эволюцию церкви:

*Мир над клиром так глумится,  
Что у всех краснеют лица;  
Церковь, божия девица,  
Стала уличной блудницей.  
(Sponsa Cbristi fit mercalis, generosa generalis).*

(Пер. М. Л. Гаспарова.)

Малая роль денег в раннем средневековье ограничивала симонию. Теперь власть денег становится всеобщей.

В духе романского гротеска сатирический bestiарий голиардов строится как фриз с изображенными в виде зверей церковниками — на фронтоне общества возникает мир клерикальных химер. Папа — лев всепожирающий; епископ — бык, пастырь ненасытный, шествует перед своим стадом, поедая всю траву; его архидиаконы подобны рысам, преследующим добычу, его настоятель напоминает охотничьего пса, который рвется с поводка и загоняет добычу с помощью чиновников — епископских охотников. Таково «Правило Игры» по описанию голиардов.

Если кюре, считавшийся жертвой иерархии и собратом по нищете и эксплуатации, как правило, не затрагивается голиардами, то на монаха они нападают жестоко. В этих нападках они не ограничиваются традиционным высмеиванием дурных нравов монашества: обжорства, лени, распутства. С точки зрения белого духовенства, — а она близка взгляду мирян — монахи являются конкурентами бедных приходских священников, отнимающих у

кюре пребенды, кающихся, верующих. В следующем веке этот спор обострится в университетах. Кроме того, мы уже находим здесь отрицание значительной части христианства — тех, кто хочет бежать от мира сего, тех, кто отвергает землю, кто в одиночестве предаётся аскезе, бедности, воздержанию, даже невежеству, понимаемому как отказ от духовных благ. Таковы два типа жизни: доведенное до предела противопоставление деятельной и созерцательной жизни, рай. на земле и страстный поиск спасения по ту сторону мира сего — вот что лежит в основе антагонизма монаха и голиарда, что делает последнего предшественником гуманиста Возрождения. Поэт, сочинивший *Deus pater, adiuva*, где молодого клирика отвращают от монашеской жизни, предвещает атаки Лоренцо Валлы на *gens cucullata* — расу клобуков.

Как городской житель голиард испытывает презрение к сельскому миру и питает лишь отвращение к его воплощению — грубому мужлану, коего он бесчестит в знаменитом «Склонении мужика»:

*Сей подлец  
Из мужиков  
Отдан бесу  
Этот вор  
И разбойник-мародер.  
Нечестивцы  
Средь презренных  
Сим безбожникам  
Лжецам  
Окаянным подлецам.*

Последней его мишенью становится рыцарь. Голиард отвергает его привилегию рождения.

*Благороден тот, кого облагородила добродетель. Выродок тот, кого не обогатила никакая добродетель.*

*Старому порядку он противопоставляет новый, основанный на личных заслугах.*

*Благородство человека — дух, образ божества. Благородство человека — именитость добродетелей. Благородство человека — самообладание. Благородство человека — выдвижение скромно-рожденного.*

*Благородство человека — права, полученные от природы.*

*Благородство человека — не бояться ничего, кроме гнусности.*

В рыцаре он презирает также военного, солдата. Для городского интеллектуала битвы духа, поединки диалектики заменили честь оружия и достоинство военных побед. Архиепископ Кельнский говорит о своем отвращении к делам оружия (*te terruit labor militaris*) так же, как и Абельяр, один из величайших поэтов-голиардов, выражает это в стихах (к сожалению, утерянных), которые читали вслух и пели на горе Св. Женевьевы, подобно тому, как сегодня напевают модные песенки.

Этот антагонизм благородного воина и интеллектуала нового стиля нашел наилучшее выражение в области, которая представляет особый интерес для социолога — в области отношений между полами. В основе вдохновившего множество поэм спора между клириком и рыцарем лежит соперничество двух социальных групп из-за женщин. Голиарды полагали, что им не выразить лучше своего превосходства над феодалами, чем хвастовством своими успехами у женского пола. Они нас предпочитают, клирик умеет любить лучше рыцаря. В этом заявлении социолог должен разглядеть замечательное проявление борьбы социальных групп.

В Прении Флоры и Филлиды, где одна любит клирика, а другая рыцаря (*miles*), в заключение подводятся итоги прения и выносятся приговор куртуазного суда:

*И собравшись на зов и принявши меры,  
Чтобы справедливости соблюсти примеры,  
Молвил суд обычая, знания и веры:  
«Клирик выше рыцаря в царствии Венеры!».*

(Пер. М. А. Гаспарова.)

Несмотря на все свое значение, голиарды существовали на окраине интеллектуального движения. Несомненно, они ввели темы будущего, которые еще успеют обрести более достойный облик. Они живейшим образом представляли среду, которая жаждала свободы; они передали следующему веку немало идей о естественной морали, свободе нравов и вольномыслии, свою критику религиозного общества — все это мы найдем у университетских профессоров, в поэзии Рютбефа, в Романе о Розе Жана де Мена, в некоторых тезисах, осужденных в Париже в 1277 г. Но в XIII столетии голиарды исчезают. Их заделали преследования и проклятия, но и собственная склонность к чисто разрушительной критике не позволила им найти свое место в строительстве университета, который они так часто покидали, чтобы успеть насладиться жизнью и постранствовать. Закрепление интеллектуального движения происходило в организованных центрах, в университетах, откуда потихоньку удалились эти бродяги.

## Абеляр

Если Пьер Абеляр и был голиардом, то он был и чем-то много большим — славой этой парижской среды. Он является первым великим интеллектуалом современного типа — пусть в рамках *modernitas* XII века. Абеляр — это первый профессор.

Удивляет уже необычность его карьеры. Бретонец из-под Нанта, он родился в Пале в 1079 г. и принадлежал к мелкому дворянству, жизнь которого становилась трудной вместе с началом развития денежной экономики. Он с радостью оставляет воинские труды своим братьям и обращается к учебе.

Абеляр отрекся от военных битв, покинув их ради других боев. Вечный спорщик, он станет, по словам Поля Виньо, рыцарем диалектики. Он все время куда-то спешит — туда, где начинается схватка. И всех будоражит, вызывая на каждом шагу горячие дискуссии.

Интеллектуальный крестовый поход фатально влечет его в Париж. Здесь раскрывается другая черта его характера — потребность разбивать идола. Его вера в себя (*de me presumps*, как он в том охотно признается), означающая не самовосхваление, но знание себе цены, побуждает его атаковать самого известного из парижских мэтров, Гийома из Шампо. Абеляр его провоцирует, припирает к стенке, похищает у него слушателей. Гийом гонит его прочь, но поздно: молодой талант уже не заглушить, он сделался мэтром. Слушатели отправляются за ним в Мелён, затем в Корбейль, где он формирует школу. Но тут человека, живущего одним интеллектом, предаёт тело: он заболел и должен на несколько лет удалиться в Бретань.

Восстановив свои силы, он снова находит своего старого врага Гийома в Париже. Новые столкновения, потрясенный Гийом вынужден подправлять свое учение, он пытается учесть критику молодого противника. Последний этим не удовлетворяется и заходит столь далеко, что в конце концов принужден вновь отступить в Мелён. Но победа Гийома стала его поражением, его покинули все ученики. Старый мэтр побежден и оставляет преподавание. Абеляр возвращается с триумфом и располагается именно там, откуда удалился его старый противник, на горе св. Женевьевы. Жребий брошен, парижская культура отныне и навсегда имеет своим центром не остров Сите, а гору, левый берег. Один человек определил судьбу квартала.

Абеляр страдает от того, что у него теперь нет равного ему соперника. Как логика его бесит то, что над всеми прочими возвышаются теологи. Он дает себе клятву: он сам делается богословом. Он вновь становится студентом и спешит в Лан на лекции самого

знаменитого богослова того времени, Ансельма Ланского. Слава Ансельма не смогла долго противостоять иконоборческой страсти горячего антитрадиционалиста.

Итак, я пришел к этому старцу, который был обязан слабой больше своей долголетней преподавательской деятельности, - нежели своему уму или памяти. Если кто-нибудь приходил к нему с целью разрешить какое-нибудь свое недоумение, то уходил от него с еще большим недоумением. Правда, его слушатели им восхищались, но он казался ничтожным вопрошавшим его о чем-либо. Он изумительно владел речью, но она была крайне бедна содержанием и лишена мысли. Зажигая огонь, он наполнял свой дом дымом, а не озарял его светом. Он был похож не дерево с листвой, которое издали представлялось величественным, но вблизи и при внимательном рассмотрении оказывалось бесплодным. И вот, когда я подошел к этому дереву с целью собрать с него плоды, оказалось, что это проклятая исподом смоковница или тот старый дуб, с которым сравнивает Помпей Лукан, говоря:

*...Встала великого имени тень —  
Словно дуб высокий среди плодородного поля.  
Убедившись в этом на опыте, я недолго оставался в  
праздности под его сенью.*

(Перевод В. А. Соколова.)

Ему бросают вызов — показать, на что он сам годится. Он поднимает перчатку. Напоминают, что если он обладает глубокими познаниями в философии, то в богословии он невежда. Он отвечает, что будет руководствоваться тем же методом. Следует указание на его неопытность. Я с негодованием ответил, что в моем обычае разрешать вопросы, опираясь не на кропотливый труд, но на разум. Абельяр импровизирует комментарий на пророчества Иезекииля, вызывающий восторг у слушателей. Из рук в руки переходят записи этой лекции, их копируют. Растущая аудитория побуждает его продолжать комментарии. С этой целью он возвращается в Париж.

## Элоиза

Пришла слава, которая была жестоко прервана романом с Элоизой. Детали нам известны по необыкновенной автобиографии, каковой является *Historia Calamitatum*, своего рода исповедь — История моих бедствий.

Роман начинается в духе Опасных связей. Абельяр не был повесой. Но бес одолевает этого интеллектуала 39 лет, знавшего любовь лишь по Овидию и по сочиняемым им самим стихам — стихам голиарда, но по духу, а не по опыту. Он горд, что находится на вершине славы, и сам признается: Я считая уже себя единственным сохранившимся в мире философом... Элоиза — это еще одно завоевание, приложение к завоеваниям разума. Да и само это приключение возникло больше из головы, чем по зову плоти. Он узнает о племяннице каноника Фульбера: ей 17 лет, она очень недурна собой, а знаниями своими уже знаменита по всей Франции. Вот женщина, которая его достойна! Глупую он не потерпел бы, ему нравится, что она к тому же и хороша собой. Это вопрос вкуса и престижа. Он хладнокровно разрабатывает план, который ему более чем удастся. Каноник вверяет ему Элоизу как ученицу, ему льстит, что обучать ее будет такой мэтр. Когда они говорят о плате, Абельяр охотно принимает предложенные скуповатым Фульбером стол и кров. Дьявол не дремлет, между учеником и ученицей словно пробегает молния. Интеллектуальное общение скоро переходит в плотское. Абельяр забрасывает преподавание, свои труды, ему не до них. Роман продолжается и углубляется. Рождается любовь, которая уже никогда не уйдет. Она переживет и неприятности, и драму.

Первая неприятность: тайное становится явным. Абельяр должен покинуть дом обманутого им хозяина. Они встречаются в другом месте, разлука только укрепляет их любовь. Она выше бесчестия.



Вторая неприятность: Элоиза беременна. Абельяр пользуется отсутствием Фульбера, чтобы похитить возлюбленную и в платье монахини спрятать ее у своей сестры в Бретани. Элоиза рождает сына, получившего вычурное имя Астролябий. Опасно быть сыном пары интеллектуалов...

Третья неприятность: проблема брака. В отчаянии Абельяр готов предложить Фульберу искупить свой грех, женившись на Элоизе. В своем превосходном исследовании об этой знаменитой паре Этьен Жильсон показал, что отвращение Абельяра к супружеству связано не с тем, что он был клириком. Будучи простым посвященным, он мог жениться по всем канонам. Но он боялся, что, женившись, он подорвет свою карьеру преподавателя, станет насмешкой для школяров.

## Женщина и брак в XII веке

Действительно, в XII в. появляется сильное антиматримониальное течение. В то самое время, когда женщина становится более свободной, когда она уже не рассматривается как собственность мужчины или как машина по производству детей, когда более не задаются вопросом о наличии у нее души (это век подъема института брака на Западе), супружество дискредитируется как среди дворян — куртуазная любовь, плотская она или духовная, существует лишь помимо брака, находя свое идеальное воплощение в Тристане и Изольде, Ланселоте и Гиневре, — так и в университетской среде, где создается целая теория естественной любви, которую мы находим в следующем веке в Романе о Розе Жана де Мена.

Итак, присутствие женщины; Элоиза появляется рядом с Абельяром в то время, когда женщина присоединяется к интеллектуальному движению — не без помощи голиардов, — требующему радостей плоти для клириков, не исключая и священников. Тем самым заявляет о себе еще одна сторона нового облика интеллектуала XII столетия. Его гуманизм требует всей полноты человечности и отвергает все, что может показаться самоумалением. Для самореализации ему нужна рядом женщина. Ссылаясь и на Ветхий, и на Новый завет, голиарды говорят свободным от условностей языком и подчеркивают, что мужчина и женщина наделены органами, которыми они могут без стыда пользоваться. Отставим в сторону сальности и сомнительные шутки голиардов. Подумаем лучше о духовном, о психологическом климате, чтобы лучше понять размах драмы Абельяра и его чувства.

Первой по этому поводу высказывается Элоиза. В поразительном письме она предлагает Абельяру отказаться от мысли о супружестве. Она напоминает о домашнем хозяйстве живущих в бедности интеллектуалов. И если даже отвлечься теперь от этого препятствия к философским занятиям, то представь себе условия совместной жизни в законном браке. Что может быть общего между учениками и домашней прислугой, между налоем для письма и детской люлькой, между книгами или таблицами и прялкой, стилем или каломом и веретенем? Далее, кто же, намереваясь посвятить себя богословским или философским размышлениям, может выносить плач детей, заунывные песни успокаивающих их кормилиц и гомон толпы домашних слуг и служанок? Кто в состоянии терпеливо смотреть на постоянную нечистоплотность маленьких детей? Это, скажешь ты, возможно для богачей, во дворцах или просторных домах которых есть много различных комнат. Для богачей, благосостояние которых нечувствительно к расходам и которые не знают треволнений ежедневных забот. Но я возражу, что философы находятся совсем не в таком положении, как богачи; тот, кто печется о приобретении богатства, занят мирскими заботами, не будет заниматься богословскими или философскими вопросами.

Кроме того, отвергая брачные узы для мудреца, можно сослаться на известные авторитеты, например, на Теофраста, аргументы которого перенимает св. Иероним в *Adversus Jovinianum*, книге, сделавшейся модной в XII в. Рядом с этим отцом церкви можно поместить античный авторитет Цицерона, который после развода с Теренцией отказался вступать в брак с сестрой своего друга Гирция.

Абельяр отвергает жертву Элоизы. Он решается на брак, но только тайный. Чтобы

успокоить Фульбера, его оповещают, и он даже присутствует на благословении этого брака.

Однако намерения у актеров этой драмы различные. Абеляр с успокоенной совестью думает вернуться к своим трудам — Элоиза должна оставаться в тени. Фульбер, со своей стороны, желает, чтобы весть о свадьбе разошлась, дабы всем стало известно о полученной им сатисфакции. Тем самым он хотел подорвать авторитет Абеяра, которому он ничего так и не простил.

Абеяру это надоело, и он задумал такую стратегию: Элоиза удалится в монастырь в Аржантейле, где она облачится в послушницу. Это положит конец сплетням. Элоиза, у которой уже нет иной воли, кроме абеяровой, будет ждать в этом одеянии, пока не смолкнут слухи. Но этот план не включал в себя Фульбера, хотя был задуман, чтобы того обыграть. Фульбер вообразил, что Абеляр избавился от Элоизы, принудив ее принять постриг и разорвав тем самым брак. Ночью в дом Абеяра является карательная экспедиция: его калечат, поутру на скандал собирается толпа.

Абеляр пытается скрыть свой стыд в аббатстве Сен-Дени. Понятно его отчаяние — может ли евнух быть вполне человеком?

Оставим здесь Элоизу, она более не послужит нашим целям. Известно, что до самой смерти продолжалось общение двух любящих душ — в письмах из одного монастыря в другой.

## Новые бои

Интеллектуальная страсть спасла Абеяра. Залечив раны, он вернул себе и боевой задор. Невежественные и грубые монахи ему претят. Своей гордыней он надоел и монахам. К тому же их одиноким молитвам мешает толпа учеников, прибывающих, чтобы просить мэтра вернуться к преподаванию. Он пишет для них свой первый богословский трактат. Его успех вызывает гнев: собрание, украсившее себя именем Собора, созывается в Суассоне в 1121 г., чтобы осудить трактат. Причем в напряженной атмосфере враги Абеяра собрали толпу, грозившую его линчевать. Несмотря на усилия епископа Шартрского, предлагавшего ограничиться наставлением, книгу сжигают, а Абеяра приговаривают до конца дней своих пребывать в монастыре.

Он возвращается в Сен-Дени, где ссоры с монахами вспыхивают с новой силой. Но разве не он сам их разжигает? Он доказывает, что знаменитые страницы Гильдуина об основателе аббатства — вздорные сказки, что первый епископ парижский не имеет ничего общего с Ареопагитом, коего обратил ап. Павел. На следующий год он бежит из этого монастыря и, наконец, находит убежище у епископа из Труа. Он строит себе небольшую молельню Св. Троицы и живет в одиночестве. Он ничего не забыл: его осужденная книга была посвящена Троице.

Его убежище вскоре обнаружено учениками, нарушающими его одиночество. Вокруг возводится деревня из их хижин и палаток. Молельня растет, перестраивается из камня и получает провоцирующее имя — Параклет. Только преподавание Абеяра помогает этим импровизированным селянам забыть о городских удовольствиях. Они меланхолически вспоминают: ведь вот школяры в городах имеют все необходимое.

Спокойная жизнь Абеяра длится недолго. Два новых апостола, как он их называет, составляют против него заговор. Речь идет о св. Норберте, основателе ордена премонтриан, и св. Бернаре, реформаторе цистерианского ордена из аббатства Сито. Они так преследуют его, что он даже подумывает о бегстве на Восток. Богу известно, как часто я впадал в отчаяние и помышлял даже о бегстве из христианского мира и о переселении к язычникам (отправиться к сарацинам, как уточнил при переводе Жан де Мен), чтобы там, среди врагов Христа, под условием уплаты какой-нибудь дани спокойно жить по-христиански. Я полагал, что язычники отнесутся ко мне благосклоннее, чем менее они будут видеть во мне христианина вследствие приписываемых мне преступлений.

Абеляр был избавлен от такой крайности — от искушения первого западного

интеллектуала, пришедшего в отчаяние от того мира, в котором он жил. Его избирают аббатом одного бретонского монастыря. Новые распри — он считает, что оказался среди варваров. Они не знают другого языка, кроме нижнебретонского. Монахи невообразимо грубы. Он пытается их чуть-чуть обтесать, а они в ответ хотят его отравить. Он бежит и отсюда в 1132 г.

В 1136 г. мы находим его на холме святой Женевьевы. Он снова учительствует, к нему ходит больше чем когда бы то ни было слушателей. Арнольд Брешианский, изгнанный из Италии за подстрекательство городского мятежа, бежит в Париж и вступает здесь в союз с Абельяром. Он приводит к нему своих нищенствующих учеников. После осуждения в Суассоне Абельяр не переставал писать. И в 1140 г. его враги вновь начинают атаку на его труды. Его связи с римским изгнанником только увеличивают их враждебность. Союз городского диалектика с демократическим движением коммун не мог не обратить на себя внимания со стороны их общих противников.

## **Св. Бернар и Абельяр**

Во главе врагов стоит св. Бернар. По удачному выражению отца Шеню, аббат из Сито находится по другую сторону христианства. Этот сельский житель, оставшийся по духу своему феодалом и даже прежде всего воином, не создан для понимания городской интеллигенции. Против еретика или неверного он знает только одно средство — силу. Проповедник крестового похода, он не верит в то, что такой поход может быть интеллектуальным. Когда Петр Достопочтенный просит его прочесть перевод Корана, чтобы возразить Магомету пером, он просто ему не отвечает. В монастырской келье он предается мистическому созерцанию, чтобы, дойдя до его высот, вернуться в мир как судья. Апостол одинокой жизни всегда готов сразиться с теми, кто хочет привнести новшества, кажущиеся ему опасными. В последние годы своей жизни он, по существу, правит христианским миром, диктуя приказы папе, приветствуя создание воинских орденов, мечтая об обращении всего Запада в рыцарство, в воинство Христово. Это уже готовый великий инквизитор.

Столкновение с Абельяром было неизбежным. Атаку начинает правая рука Бернара, Гийом из Сен-Тьерри. В письме Бернару он разоблачает нового богослова и побуждает своего именитого друга начать преследование. Св. Бернар приезжает в Париж, он пытается увещать студентов. Успеха он не имеет, убеждаясь в размерах учиняемого Абельяром зла. Один из учеников Абельяра предлагает, чтобы в Сансе состоялся диспут перед собранием теологов и епископов. Мэтр должен еще более возвыситься в глазах своих слушателей. Св. Бернар тайком меняет характер этого собрания.

Аудитория превращается в Собор, а его противник по диспуту — в обвиняемого. В ночь перед дебатами он созывает епископов, показывает им собранное на Абельяра досье и представляет его как опасного еретика. Наутро последнему не остается ничего другого, как поставить под сомнение правомочность Собора и воззвать к папе. Епископы посылают в Рим довольно мягкое осуждение. Встревоженный этим Бернар торопится, чтобы его обогнать. Его секретарь мчится к преданным Бернару кардиналам с письмами, которые помогают вырвать у папы суровое осуждение Абельяра, книги которого приговорены к сожжению. Абельяр вновь должен отправиться в путь, он укрывается в Ключни. На этот раз он сломлен. Петр Достопочтенный принимает его с бесконечным милосердием, примиряет его со св. Бернаром, добивается от Рима снятия отлучения и помещает Абельяра в монастырь Сен-Марсель в Шалоне, где тот умирает 21 апреля 1142 г. Великое аббатство Ключни посылает ему письменное отпущение грехов и напоследок делает еще один весьма деликатный жест — передает его прах Элоизе, аббатисе в Параклете.

Такова эта жизнь — типичная в своей необычности. Из значительного числа сочинений Абельяра мы остановимся здесь только на нескольких характерных моментах.

Абеляр был прежде всего логиком и, подобно всем великим философам, первым делом занялся вопросом о методе. Он был чемпионом диалектики. Своим Учебником логики для начинающих (*Logica ingredientibus*) и прежде всего своим *Sic et Non* (1122 г.) он дал западной мысли первое Рассуждение о методе. С блестящей простотой он доказывает необходимость обращения к собственной способности рассуждения. Отцы церкви ни по одному вопросу не были согласны друг с другом; где один говорил «белое», другой находил «черное» — *Sic et Non*.

Отсюда необходимость науки о языке. Слова созданы, чтобы что-то обозначать (номинализм), но они имеют свою опору в реальности. Они соответствуют вещам, которые обозначают. Все усилия логики должны заключаться в том, чтобы установить адекватность языка и обозначаемой им реальности. Для такого требовательного ума язык является не покровом, скрывающим реальность, но выражением реальности. Этот профессор верит в онтологическую ценность своего инструмента — слова.

## Моралист

Логик был также моралистом. В сочинении «Этика, или Познай самого себя» (*Ethica seu Scito te ipsum*) сей пропитавшийся античной философией христианин придает самосозерцанию не меньшее значение, чем монастырские мистики, вроде св. Бернара или Гийома из Сен-Тьерри. Но, как отмечал М. де Гандильяк, если для цистерцианцев «христианский сократизм» был прежде всего медитацией на тему бессилия человека-грешника, то в «Этике» самопознание предстает как анализ свободного согласия. От него зависит, принимаем мы или отвергаем то презрение Бога, каковым является грех.

Св. Бернар восклицает: Рожденные во грехе грешники, мы порождаем грешников; рожденные должниками — должников; рожденные в разврате — развратников; рожденные рабами — рабов. Мы ущербны уже при появлении в мире сем, пока живем и покидая его; от корней наших ног и до вершины нашей головы в нас нет ничего неиспорченного. Абеляр отвечает на это, что грех есть лишь недостаток: грешить — значит презреть нашего Творца, значит не совершать во имя Его действий, которые мы считаем нашим долгом самоотречения ради Него. Определяя тем самым грех чисто негативно, как согласие на дела порочные либо как отказ от дел добродетельных, мы ясно показываем, что грех не есть некая субстанция, ибо он заключается, скорее, в отсутствии, нежели в присутствии, и сходен с тьмой, которую можно было бы определить: отсутствие света там, где должен был быть свет. Он отдает человеку способность решения — согласие на добродетель или отказ от нее, в чем и видит центр моральной жизни.

Этим Абеляр сильнейшим образом способствовал подрыву одного из важнейших таинств христианства — епитимьи или покаяния. Перед лицом радикального зла человека церковь в варварские времена составляла списки грехов и тарифов положенных наказаний на манер варварских же законов. Пенитенциарий раннего средневековья свидетельствуют, что в то время главными в раскаянии считались грех и наказание за него. Абеляр выразил и укрепил противоположную установку. Самым важным является грешник, его намерение, а главным наказанием — раскаяние. Сердечное раскаяние, — пишет Абеляр, — уничтожает грех, т. е. презрение Бога или согласие на зло. Ибо милосердие Божие, вдохновляющее это стенание, несовместимо с грехом. «Суммы» исповедников, появившиеся к концу того века, уже включают в себя этот переворот в психологии — если не в теологии — раскаяния. Так, в городах и в городских школах углубляется психологический анализ, происходит в полном смысле слова гуманизация таинств. Можно представить, насколько обогатился духовно западный человек!

## Гуманист

Обратим внимание лишь на одну черту Абельяра-теолога. Никто больше него не говорил о союзе разума и веры. Задолго да св. Фомы он идет здесь дальше великого начинателя новой теологии, св. Ансельма, пустившего в ход в предшествующем столетии плодотворную формулу: вера в поисках разумения, «верую, чтобы понимать» (*fides quaerens intellectum*).

Тем самым Абельяр удовлетворяет чаяния школьных кругов, которые в теологии требуют более человеческих и философских оснований и желают более понимать, нежели высказываться. К чему, говорят они, слова, лишённые разумности? Нельзя верить в непонятное и смехотворно обучать других тому, что не могут уразуметь ни сам обучающий, ни его слушатели.

В последние месяцы своей жизни в Клуни наш гуманист в полной безмятежности начинает писать свой Диалог между философом (язычником), иудеем и христианином. В нем он желает показать, что ни первородный грех, ни боговоплощение не были абсолютными разрывами в истории человечества. Он ищет общее в трех религиях, составляющих для него сумму человеческой мысли. Он хочет найти естественные законы, которые поверх всех религий позволяют признать каждого человека сыном Божиим. Его гуманизм завершается веротерпимостью, и перед лицом всех разделений он ищет то, что соединяет людей, памятуя, что в доме Отца моего много обителей. Если Абельяр был наивысшим выражением парижской среды, то в Шартре следует искать другие черты рождающегося интеллектуала.

## Шартр и шартрский дух

Великим научным центром века был Шартр. Тут не пренебрегали искусствами тривиума — грамматикой, риторикой, логикой; это видно по преподаванию Бернара Шартрского. Но этому изучению *voces*, слов, в Шартре предпочитали изучение вещей, *res*, которые были предметом квадривиума: арифметики, геометрии, музыки, астрономии.

Именно эта ориентация определяет шартрский дух — дух любознательности, наблюдений, исследований, который расцвел, питаемый соками греко-арабской науки. Жажда познания получила такое распространение, что знаменитейший из популяризаторов века, Гонорий Отенский, резюмировал ее удивительной формулой: Невежество — изгнание человека, его отечество — наука.

Эта любознательность приводит в негодование умы, преданные традиции. Абсалон Сен-Викторский возмущается тем интересом, с которым здесь изучают строение шара, природу элементов, расположение звезд, природу животных, силу ветра, жизнь растений и корней. &lt;...&gt;ом из Сен-Тьерри жалуется св. Бернару на людей, объясняющих творение первого человека не от Бога, но от природы, от духов и от звезд. Гийом из Конша отвечает: Не ведая сил природы, они хотят, чтобы мы оставались на привязи у их невежества, отрицают за нами право на исследование и осуждают нас на то, чтобы мы оставались деревенщиной, верующей без разума.

В Шартре превозносятся и популяризируются несколько великих фигур прошлого, которые, христианизировавшись, становятся символами знания — великими мифическими предками ученого

Соломон тут учитель всякой восточной и еврейской учености; он не только мудрец Ветхого завета, но также великий представитель герметической науки. С его именем связывается энциклопедия магических познаний, он является владыкой тайн, хранителем секретов науки.

Александр предстает в первую очередь как Исследователь. Его учитель Аристотель вдохнул в него страсть к изысканию, энтузиазм любознательности, матери науки. Получает распространение древнее апокрифическое письмо, в котором он рассказывает своему учителю о чудесах Индии. Перенимается и легенда Плиния, согласно которой Александр поставил философа во главе научного проекта, снабдив его тысячью ученых, посланных во все концы света. Жажда познаний была двигателем всех его походов и завоеваний. Не

довольствуясь покорением земли, он хотел изучить другие стихии. Он поднимался в воздух на ковче-самолете; построил стеклянную бочку и спускался в глубины моря в этом предке батискафа, чтобы изучить нравы рыб и морскую флору. К несчастью, — пишет Александр Неккам, — он не оставил нам своих наблюдений

Наконец, Вергилий, тот самый Вергилий, который  
&lt;...&gt;

## Шартрский натурализм

Основанием шартрского рационализма была вера во всемогущество Природы. Природа для них есть прежде всего порождающая сила, *mater generationis*, вечно творящая и обладающая неисчерпаемыми ресурсами. На этом зиждется натуралистический оптимизм XII в., века расцвета и экспансии.

Но Природа также представляет собой космос, пример организованного и рационального единства. Она явлена как сеть законов, существование которых делает возможной и необходимой рациональную науку о вселенной. Таков другой источник оптимизма — разум — предсказал явление Христа в своей четвертой эклоге и на могиле коего молился ап. Павел. Он собрал в Энеиде сумму познаний античного мира. Бернар Шартрский комментирует первые шесть книг поэмы как научный труд — на равных правах с Книгой Бытия. Так формируется легенда, которая приведет к замечательному персонажу Данте, к тому, кто будет призван исследовать подземный мир автором Божественной комедии: *Tu duca, tu signore e tu maestro*.

Дух исследования столкнется с другой тенденцией шартрских интеллектуалов — духом рациональности. На пороге Нового времени эти две фундаментальные установки научного духа часто кажутся антагонистами. Для ученых XII в. опыт способен постичь только феномены, видимости. Наука должна отвернуться от них, чтобы разумом постигать реальности. Мы еще увидим, сколь тяжким грузом отягощало это разделение средневековую науку.

## Абсурдность мира

Он не абсурден, он просто еще не понят; мир — это гармония, а не беспорядок. Потребность в упорядоченной вселенной ведет некоторых шартрцев к отрицанию существования изначального хаоса. Такова позиция Гийома из Конша и Арно из Бонневаля, комментировавшего Книгу Бытия в следующих выражениях: Бог, различая свойства мест и имен, придал вещам соответствующие им меры и назначения наподобие членов одного гигантского тела. Даже в тот отдаленный момент (Творения) у Бога не было ничего запутанно — го, ничего бесформенного, ибо материя вещей с самого творения была образована из соразмерного. В таком духе шартрцы комментировали Книгу Бытия, разъясняя ее прежде всего природными законами. Физицизм здесь противопоставляется символизму. Так, Гьерри Шартрский предлагает анализировать библейский текст в согласии с физикой и буквально (*secundum physicam et ad litteram*). Так делал это со своей стороны и Абельяр в *Expositio in Hexameron*.

Для этих христиан подобные верования давались нелегко. Проблемой оставалось отношение между Природой и Богом. Для шартрцев Бог хоть и создал Природу,» но он почитает данные им самим законы. Его всемогущество не противоречит детерминизму. Чудо имеет место в рамках порядка природы. Важно не то, — пишет Гийом из Конша, — что Бог мог это сделать, но важно исследовать это, объяснить рационально, показать цель и пользу. Несомненно, Бог мог все, но главное, что сделал он то или другое. Конечно, Бог мог сделать теленка из ствола дерева, как то говорит неотесанная деревенщина, но разве он когда-нибудь это делал?

Так происходит десакрализация природы, критика символизма — необходимые

пролегомены ко всякой науке. Христианство, как то показал Пьер Дюгем, сделало это возможным с момента своего распространения, перестав считать природу, звезды, явления богами, — а это свойственно античной науке, — но полагая их творениями Бога. Новый этап придал ценность рациональному характеру творения. Против сторонников символического истолкования вселенной поднимается требование: признать существование порядка автономных вторичных причин за действием Провидения. Конечно, XII век еще полон символов, но интеллектуалы уже начинают склонять чашу весов в сторону рациональной науки.

## Шартрский гуманизм

Однако дух Шартра прежде всего гуманистичен. Не только во вторичном смысле слова, поскольку для созидания своей доктрины он обращается к античной культуре; но прежде всего потому, что человека он делает средоточием своей науки, своей философии и чуть ли не теологии.

Человек есть объект и центр творения. Смысл споров Сиг Deus homo великолепно изобразил отец Шеню. Традиционному тезису, подхваченному св. Григорием, по которому человек есть случайность творения, эрзац, тупик, созданный Богом лишь с тем, чтобы заменить падших после своего бунта ангелов, Шартр, развивая мысли св. Ансельма, противопоставляет идею человека, согласно которой он изначально входил в план Творца и для него, собственно, был создан мир.

В знаменитом тексте Гонорий Отенский популяризирует этот шартрский тезис, с самого начала заявляя: Нет иного авторитета, помимо истины, проверенной разумом; то, чему ради веры учит нас авторитет, разум подтверждает своими доводами. Провозглашенное несомненным авторитетом Писание находит подтверждение рассуждающего разума: даже если б все ангелы остались в небесах, человек все же был бы создан вместе со всем своим потомством. Ибо мир сей был сотворен для человека, а под миром я разумею небо, землю и все то, что содержится во вселенной; и было бы абсурдно верить, что если б все ангелы сохранились, то он не был бы создан Тем, Кто сотворил всю вселенную.

Подчеркнем по ходу, что, ведя дискуссии об ангелах — даже об их половых признаках, — средневековые богословы почти всегда думали о человеке, и не было ничего более важного для будущего разума, чем эти, казалось бы, пустопорожние дебаты.

Человека шартрцы рассматривают прежде всего как рациональное существо. В нем осуществляется активное соединение разума и веры — это одно из фундаментальных положений интеллектуалов XII столетия. Они так интересуются животными, чтобы на их фоне лучше разглядеть человека. Антитеза «зверь — человек» является одной из великих метафор века. В римском бестиарии, в пришедшем с Востока гротескном мире, воспроизводимом воображением традиционалистов в их символизме, Шартрская школа видит своего рода гуманизм наоборот и постепенно от них отходит, чтобы вдохновить скульпторов готики и дать им новую модель — человека.

Известно, что привнесли в этот гуманистический рационализм греки и арабы. Здесь нет лучшего примера, чем Аделар Батский, переводчик и философ, много путешествовавший по Испании.

Одному традиционалисту, предложившему ему вступить в дискуссию как раз по поводу животных, он отвечает: Мне трудно обсуждать животных. От моих арабских учителей я научился брать себе в вожатые разум, а ты довольствуешься тем, что идешь на поводке за надуманными авторитетами. А как же еще назвать авторитет, как не поводком? Подобно тому, как глупых животных ведут на поводке, а они не ведают, куда и почему, довольствуясь тем, что их тянут за веревку, так и большинство из вас являются пленниками животной доверчивости и дают вести себя в путях опасных верований, ссылаясь на авторитет того, кто эти верования записал.

И далее: Ведь именно к аргументам диалектики прибегал Аристотель, когда забавы

ради отстаивал ложный тезис перед слушателями с помощью своего софистического мастерства, тогда как они защищали от него истинное. Вот почему прочие искусства могут ступать твердо, пока пользуются услугами диалектики, но без нее спотыкаются и не знают уверенности. Поэтому современные авторы для ведения споров обращаются к самым прославленным в искусстве диалектики...

Аделар Батский приглашает нас идти еще дальше. Он полагает, что интеллектуалы XII в. могли бы извлечь из себя самих, из способностей собственного разума, самое существенное из того, что они прикрывали именами Древних и Арабов, чтобы смелее противостоять тем, кто привык к ссылкам на авторитеты, — сколь бы значительны они не были. Вот его признание: Наше поколение имеет тот укоренившийся недостаток, что оно отказывается признавать все пришедшее от современных. Так, если у меня есть собственная идея, которую я желаю опубликовать, то я приписываю ее кому-нибудь еще и заявляю: «Это сказано не мною, а таким-то». А чтобы мне целиком поверили, я говорю: «Изобрел это такой-то, а не я». Дабы избежать неприятностей, коли подумают, что это я, невежда сам у себя нашел эти идеи, я их уверяю, что взял их у арабов. Мне не хочется, чтобы сказанное мною и не нравящееся остальным умам вело к тому, что это я им не понравлюсь. Я знаю, как выглядят настоящие ученые в глазах черни. Вот почему я отстаиваю не свое, а арабское.

Самым новым тут было то, что наделенный разумом человек мог исследовать и постигать рационально устроенную Творцом природу. Сам человек рассматривается шартрцами как природа, которая совершенным образом вписывается в порядок мира.

## **Человек-микрокосм**

Так ожил и получил глубокий смысл древний образ человека-микрокосма. От Бернара Сильвестрийского к Алану Лилльскому идет развитие аналогии между миром и человеком, между мегакосмом и той вселенной в миниатюре, каковой является человек. Эта концепция революционна, хотя мы находим здесь немало забавного, когда в человеческом существе, например, отыскивают четыре элемента и доводят эти аналогии до абсурда. Она побуждает рассматривать человека в целом, начиная с его тела. Большая научная энциклопедия Аделара Батского распространяется на анатомию и физиологию человека. Это движение сопровождает и подкрепляет прогресс в области медицины, гигиены. Человек, которому вернули его тело, подходит к открытию человеческой любви, одному из величайших событий XII века, трагически пережитому Абеяром, и которому Дени де Ружмон посвятил свою знаменитую и спорную книгу. Этот человек-микрокосм обнаруживает себя в центре вселенной, которую он воспроизводит, находясь с нею в гармонии. К нему ведут все нити, он пребывает в согласии с миром, ему открыты бесконечные перспективы. Об этом пишут Гонорий Отенский и еще замечательная женщина, аббатиса Хильдегарда Бингенская, которая соединяет новые теории с традиционным монашеским мистицизмом в своих необычных трудах *Liber Scivias* и *Liber dtvivorum operum*. Исключительное значение имеют миниатюры этих книг, которые сразу получили широкую известность. Возьмем хотя бы одну из них, где человек-микрокосм предстает обнаженным, а моделью его тела служит любовь. Это показывает, что гуманизму интеллектуалов XII в. не нужно было дожидаться другого Возрождения, чтобы добавить это измерение, в котором эстетический вкус к формам сочетался с любовью к истинным пропорциям.

Последним словом этого гуманизма было, пожалуй, то, что человек, сам являющийся природой и способный постичь природу своим разумом, может также преобразовать ее своей деятельностью.

## **Фабрика и homo faber**

Интеллектуал XII века, помещенный в центр городского строительства, видит вселенную по образу этой стройки, как огромную и шумную фабрику, гудящую множеством



ремесел. Метафора стоиков «мир — фабрика» переносится в более динамичную среду, имеющую более действенный характер. Герхох Рейхербергский говорит в своей *Liber de aedificio Dei* об этой великой фабрике всего мира, своего рода вселенской мастерской (*illa magna totius mundi fabrica et quaedam universalis officina*).

На такой стройке человек утверждает себя как мастер, преобразующий и творящий. Заново раскрывается *homo faber*, сотрудник Бога и природы в творении. Великое деяние, — говорит Гийом из Конша, — есть деяние творца, деяние природы или человека-мастера, подражающего природе.

Так преобразается картина человеческого общества. В этой динамичной перспективе, придающей смысл экономическим и социальным структурам века, общество должно включать в себя все человеческие труды. Ранее презираемые, они входят вместе с этой реабилитацией труда в град человеческий, образ града божественного. Иоанн Солсберийский в *Policraticus*'e возвращает в общество сельских тружеников:

работающих в полях, в лугах, в садах; а затем и ремесленников: сукноделов, как и всех прочих, работающих орудиями по дереву, железу, бронзе и иным металлам. В такой перспективе рушится старая школьная система свободных искусств. Новое обучение должно включать в себя не только новые дисциплины: диалектику, физику, этику, но также научные и ремесленные техники, являющиеся существенной частью человеческой деятельности. Гуго Сен-Викторский в программе обучения, предложенной в *Didascalion*'e, утверждает эту новую концепцию. Гонорий Отенский развивает ее в своей знаменитой формуле: невежество — изгнание человека, его отечество — наука, добавляя при этом, что началом, здесь являются свободные искусства, представляющие собой города-этапы. Первый город — это грамматика, второй — риторика, третий — диалектика, четвертый — арифметика, пятый — музыка, шестой — геометрия, седьмой — астрономия. Тут он просто следует традиции. Но на этом путь не заканчивается. Восьмым этапом будет физика, где Гиппократ обучает странников добродетели и природе трав, деревьев, минералов, животных. Девятым оказывается механика, где странники обучаются работе с металлами, деревом, мрамором, живописи, скульптуре и ручному ремеслу. Здесь Нимрод воздвиг свою башню, а Соломон сконструировал свой храм. Здесь Ной изготовил свой ковчег, обучал искусству фортификации и работе с разными тканями. Одиннадцатый этап — это экономика. Сии врата ведут в отечество человека. Тут регулируются состояния и достоинства, различаются обязанности и порядки. Поспешающие в свое отечество люди обучаются здесь тому, как подойти к иерархии ангелов согласно порядку собственных заслуг. Так политикой завершается одиссея гуманизма интеллектуалов XII века.

## Фигуры

Среди них, даже среди тех, что учили в Шартре, следует различать личности и темпераменты. Бернар был прежде всего профессором, желавшим дать своим ученикам общую культуру и методы мышления посредством солидной грамматической подготовки. Бернар Сильвестр и Гийом из Конша были в первую очередь учеными — славными представителями наиболее оригинальной тенденции шартрского духа. Они уравнивают тем самым литературную склонность этого века, соблазняящую многие умы. Как говорил Элоизе Абеляр: Более заботясь об учености, чем о красноречии, я слежу скорее за ясностью изложения, нежели за построением слов, за буквальным смыслом, чем за риторическими украшениями. Этому принципу следовали переводчики, сторонившиеся языческих красот. Я ничего не отбросил и ничего заметным образом не изменил в тех материалах, которые вам потребны для возведения вашего замечательного творения, — пишет Роберт Честерский Петру Достопочтенному, — за исключением того, что сделал их более понятными, и я не пытался позолотить низкую и презренную материю. С другой стороны, Иоанн Солсберийский — это, скорее, уже гуманист в ставшем для нас обычным смысле слова, он предан культурной утонченности и поиску выразительности. Хоть он и шартрец, но это —

литератор. И все же он ищет, как сохранить счастливое равновесие. Как красноречие безрассудно и слепо без с бета разума, так и наука, не умеющая пользоваться словом, слаба и словно безрука. Люди стали бы скотами, лишившись присущего им красноречия.

Гильберт Порретанский был мыслителем, вероятно, самым глубоким метафизиком века. Его невзгоды — он стал жертвой нападок как традиционалистов, так и св. Бернара — не помешали ему вдохновить многочисленных учеников (к порретанцам относят Алана Лилльского и Николая Амьенского) и пробудить в своей епархии в Пуатье усердие как народа, так и клириков.

## Влияние

В Шартре сформировались первопроходцы. В Париже — после поднятых Абельяром бурь — более умеренные умы стали включать в традиционное церковное образование все то, что можно было заимствовать у новаторов, не вызывая скандала. Этим занимались прежде всего епископ Петр Ломбардский и Петр Едок, получивший свое прозвище из-за того, что был знаменит своей способностью поглощать книги. Книги сентенций первого и Церковная история второго представляют собой систематические изложения философских истин и исторических фактов, содержащихся в библии. Они стали первыми базовыми учебниками университетов XIII века. Через них открытиями небольшого числа отважных смогла воспользоваться и масса более осторожных.

## Интеллектуал-работник и городская стройка

Этот тип интеллектуала мог развиваться лишь в городских стенах. Его противники, его враги прекрасно видели это и слали одно и то же проклятие городам и новой разновидности интеллектуалов. Этьен де Турнэ, аббат Сен-Женевьев, в конце века ошеломлен нашествием «disputatio» в теологию: В нарушение священных установлений, божественных таинств и воплощения Слова ведут публичные споры... Неделимую Троицу режут на части на каждом перекрестке. Сколько докторов, столько заблуждений, сколько аудиторий, столько мнений, сколько площадей, столько богохульства. Он называет парижских мэтров торговцами слов (venditores verborum).

Тут он откликается на сказанное аббатом из Детца Рупертом, который в начале века, узнав, что над ним насмеются в городских школах, смело покинул свой монастырь и явился к своим врагам в город. Уже тогда он заметил дискуссии на каждом углу и предвидел распространение этого зла. Он напоминает, что строители городов — нечестивцы, поскольку вместо того чтобы жить на земле, этом месте, отпущенном нам на краткий срок, они воздвигают и воздвигают все новые постройки. Перелистав всю библию, он набрасывает грандиозную антиурбанистическую фреску. После первого города, построенного Каином, после Иерихона, разрушенного священными трубами Иисуса Навина, он упоминает Енох, Вавилон, Ассур, Ниневию, Библ. Бог, как он говорит, не любит города и горожан. А нынешние города с шумихой пустопорожних диспутов между мэтрами и школярами — это же просто воскресшие Содом и Гоморра!

Интеллектуал XII в. чувствует свое сходство с мастером, с ремесленником, с другими горожанами. Его задача — изучение и обучение свободным искусствам. Но что такое искусство? Это не наука, а техника. Ars есть «techne», а специальность профессора в этом смысле не отличается от специальности плотника или кузнеца. Вслед за Гуго Сен-Викторским св. Фома в следующем веке выведет все следствия из этого положения. Искусство представляет собой всякую рациональную и правильную деятельность, примененную для фабрикации как материальных, так и интеллектуальных инструментов; это умная техника, предназначенная для делания. Ars est recta ratio factibilium. Таким образом, интеллектуал является ремесленником; среди прочих наук они [свободные искусства] называются искусствами, поскольку предполагают не только познание, но также

производство, прямо проистекающее из разума: таковы функции построения (грамматика), силлогизма (диалектика), речи (риторика), чисел (арифметика), меры (геометрия), мелодий (музыка), расчета движения звезд (астрономия).

В тот день, когда Абеляр, вновь впав в нищету, замечает, что он не способен возделывать землю и что ему стыдно попрошайничать, он возвращается к преподаванию (*scolarum regimen*)